

В его жизни многое обрывалось на полуслове в самый неподходящий момент. Мать рассказывала, что едва он появился на свет и приветствовал мир пронзительным криком, как ему тут же пришло в голову замолчать. Только младенец затянул своё “а-а-а!”, как сразу же умолк и сосредоточенно уставился на акушерку, которая смутилась от его взгляда и начала суесться, приговаривая: “Ну, что ж ты не кричишь? А ну, кричи!” Ничего не добившись от новорождённого, она передала его в ослабшие, встревоженные руки матери, но и та не сумела добиться от сына ни звука.

Врач не смог объяснить, отчего мальчик молчалив, однако тот расшумелся несколькими часами позже и очень долго не успокаивался, приведя мать в отчаяние. Поначалу она была счастлива, что ребёнок наконец-то кричит, как полагается всякому здоровому младенцу, но вскоре устала от его визга настолько, что захотела убежать прочь, пронестись сквозь родильное отделение и оказаться на улице, где его вопли не были бы ей слышны.

Осталась в жизни Константинова неконченная шахматная партия во время турнира, когда среди его ровесников определялись лучшие из лучших. В случае победы ребятишкам присваивались первые в их жизни, детские разряды, и Константин, слывший лучшим шахматистом районного дворца пионеров и неустанно подтверждавший своими решительными победами это звание, мог рассчитывать на очень хороший разряд. Но в тот самый момент,

когда ему следовало поставить приунывшему и тоскливо поглядывавшему в окно противнику мат, Константинов поднялся из-за стола, небрежным движением повалил своего короля на клетчатую доску и покинул зал, в котором проходили соревнования. Его учитель, носивший густые седые брови, настиг его в гулком коридоре, непонимающе хлопал седыми же ресницами и не находил слов, чтобы спросить мальчика о его необъяснимом и удивительно глупом поступке. Он так ничего и не сказал Константинову, который, постояв смиренно подле учителя, вскоре продолжил своё движение в сторону лестницы.

Следующий крупный конфуз случился, когда Константинову исполнилось двенадцать, и он без чего-либо наущения выучил наизусть всего “Евгения Онегина”. Сам взял из книжного шкафа со стеклянными дверцами пушкинский томик и влюбился в роман с первых строк. Он глотал строфы жадно, с восторгом, как иные его ровесники глотали батончики иностранного шоколада, внезапно появившиеся на прилавках магазинов и в витрине киоска с мороженым; отказывался ложиться спать, не дочитав очередную главу. Когда же она подходила к концу, он принимался за следующую и не гасил свет, пока не расправлялся и с ней. Но и тогда, когда рука его тянулась к щёлкающему выключателю лампы, он сквозь почти смежившиеся веки пробегал новые строчки в главе, которую с сожалением оставлял до завтра.

Прочитав роман раз, Константинов без отлагательств начал сызнова и уже читал вслух, с чувством, с толком, с расстановкой, как наказывал один из героев пушкинского тѣзки, и вслушивался в свой голос и в пушкинские строки, и находил, что его собственное чтение несколько не портит музыки поэта. Он обратился к родителям и сообщил, что хотел бы принять участие в конкурсе юных чтецов, который должен был состояться через месяц в уже упоминавшемся дворце пионеров, и, подытоживая, без всякой гордости, будничным тоном заявил, что программа у него готова, и самые любимые строки из “Онегина” он знает наизусть, то есть *by heart*.

*By heart* многое приходилось учить для уроков английского языка, вела которые пожилая армянка, говорившая на языке потомков Шекспира с таким же ужасающим акцентом, что и на языке потомков автора “Онегина”. Но она была обаятельна, и за это одно Константинов ей многое прощал, даже английскую букву *d*, которую учительница звала не иначе как “ды”. Она даже растягивала: “Ды-ы-ы! Дети, повторяйте за мной: ды-ы-ы!” И целый класс был вынужден привыкать именно к такому, совершенно не лондонскому произношению.

Когда подошло время конкурса, Константинов бесстрашно поднялся на сцену, чуть-чуть приподнял подбородок, чтобы не видеть зал, и, глядя на тёмное окошко кинопроекторной, откуда две недели назад показывали “Полёт навигатора”, принялся читать Пушкина. Читал прекрасно, и в зале, как принято говорить, царил тишина. Собравшиеся вслушивались в то, как отрок рассказывает о любви Татьяны, почти что его ровесницы, к петербургскому франту Евгению; у кого-то из женщин даже выступили на глазах слёзы, а двое мужчин одобряюще кивали головою в такт стиху.

Константинов всего этого, естественно, не замечал. Перед его взором представляли стихотворные строки, высвечивались удивительно простые, но такие точные и замечательные рифмы, о которых, кроме Пушкина, никто ни за что не догадался бы. Юному чтецу представлялось, что он плывет на лодке по реке, а на поверхности её покачиваются листы из знакомого и родного томика в коричневой обложке. И вот, когда до конца выбранного для конкурса отрывка оставалось всего несколько строк, Константинов внезапно замолчал, поглядел поочередно в левую и правую кулисы, сощурился на заставший в ожидании развязки зал и, больше ни секунды не медля, сошёл со сцены и двинулся к выходу. В зале зашелестели голоса, а затем послышался голос его отца: “Вернись, ты не закончил!” Но Константинову было безразлично.

“Если все люди равны, — рассуждал он, приближаясь к гардеробу, — отчего же здания, выстроенные для пионеров, названы дворцами? Дворцы — для царей. Разве пионеры — цари?”

Ленивая гардеробщица выдала ему по номерку куртку; Константинов осведомился у неё, который час, и вышел на улицу. Светило солнце, но было холодно. Пушкин любил осень, а Константинов предпочитал лето. Но не жаркое, а тёплое и в меру дождливое.

Летом они с отцом ходили в парк, и Константинов без усталости купался в пруду с мутной водой. Потом купание в том пруду запретили раз и навсегда, обнаружив в воде опасные бактерии. На берегу установили предостерегающую табличку, выкорчевали вокруг пруда все лавочки, чтобы, наверно, отбить у людей всякое желание проводить здесь время. Константинов отнёсся к произошедшему с пониманием. Нового места для купания он искать не стал и увлёкся велосипедом. С двухколёсной машины в первые два дня он несколько раз упал, разбил до крови колени и локоть, расцарапал подбородок и наклеил на него крест-накрест полоски пахучего пластыря, но от намерения стать велосипедистом не отрёшился...

Родители, обнаружившие сына позади дворца пионеров сидящим на куче палой листвы, задавали много вопросов, с особенным беспокойством интересовались его самочувствием и, наконец, словно кончив ненужную прелюдию, спросили, отчего он не завершил чтения и позорно ретировался со сцены. Константинов повёл плечом. Родители знали значение этого жеста: ответ у сына, разумеется, есть, но он его не даст, сколь ни проси.

За ужином семья молчала, и тогда Константинов, отодвигая от себя тарелку с недоеденной гречкой, произнёс:

— Незачем было дочитывать. И так всё ясно.

— Что, что тебе там ясно? — распялся отец, пытаясь войти в комнату сына, который после незавершённого ужина решил скрыться в ней от родительского гнева.

Подперев дверь тумбочкой, Константинов забрался с ногами на широкий подоконник и закрыл глаза. В отличие от отца, он был абсолютно спокоен.

— В конце концов, это просто некрасиво! — продолжал бушевать отец. — То, как ты себя повёл... Весь зал, все триста человек...

— Если быть точным, двести сорок, — поправил из-за двери Константинов.

— Не груби папе! — вмешалась мать.

— Пусть столько! — согласился отец. — Но так поступать нельзя: люди тебя слушали, а вместо этого ты... Представь себя на их месте.

— Для чего?

— Чтобы понять, как им было обидно. Кроме того! Что теперь о нас с мамой будет думать? Станут говорить, что у нас невоспитанный сын...

— Какое дело до того, что скажут малознакомые люди? — серьёзно спросил Константинов, отодвигая тумбочку и приоткрывая дверь. — Мы же живём ради того, чтобы...

Мальчик не договорил и, тяжело, как-то по-взрослому, вздохнув, отошёл в глубину своей узкой, продолговатой комнаты с обоями фиолетового оттенка, усыпанными цветами.

— Интересно было бы узнать, ради чего ты живёшь! — воскликнул отец.

Константинов повёл плечом и принялся водить пальцем по настенному календарю.

— Невежливо не отвечать на поставленный вопрос!

Мальчик кивнул и задумчиво проговорил:

— Мне нужен глобус.

— Для чего?

— Буду его вертеть.

Константинов знал, что бывает несносен в разговорах с людьми, когда ошарашивает их своими ответами или, напротив, молчанием, но никогда не стремился в себе что-либо поменять. "В итоге, — рассуждал он, — по-настоящему никому дела нет до того, какой ты есть. Не соответствуя чьим-либо ожиданиям о тебе, ты всего-навсего не соответствуешь их ожиданиям".

Первая любовь в жизни человека может нагрянуть, когда угодно. Иной до старости хранит воспоминания о девочке, исподтишка поцелованной во время тихого часа в детском саду; кто-то без слёз не может вспомнить тёмную каморку школьной уборщицы, где во время выпускного вечера у него случился *самый первый раз*. Константинов был сентиментален по-своему: вызывая в памяти подобные образы, он слёз не подпускал, но начинал вдруг задыхаться от вставшего в горле кома. Спустя минуту он успокаивался и продолжал жить обычной жизнью.

Первую его любовь звали Катя. Отыскав через много лет школьный фотоальбом, он не нашёл её привлекательной. Вздёрнутый нос, длинная рыжая коса. Высокая, угловатая, неуклюжая. В те дни Константинов был ниже неё на полголовы. Он замечал, как она намеренно сутулится, когда находится рядом. Она заботилась о нём: Кате совершенно не хотелось, чтобы Константинову было неуютно или неловко около неё.

По прошествии лет он ясно сознавал, что они были ужасной парой, и, пожалуй, это он не годился ей в возлюбленные. Его молчаливость, погружённость в собственные мысли могли вывести из себя кого угодно. Катя же набралась такого завидного терпения, что ни разу не выказала того, что ей часто бывает с ним скучно. Она считала его красивым и даже интересным в общении, но только в те моменты, когда ему действительно хотелось поговорить. Часто ли такое бывало? Он этого уже не помнил.

Они гуляли, держась на расстоянии метра друг от друга. Сейчас, вспоминая Катю, он тянул руку в её сторону и понимал, что не может достать до неё даже кончиками пальцев. Между ними и её плечом всё равно оставалось пространство. Это пространство, казалось бы, ничем не заполненное, всегда разделяло их физически и духовно, если выражаться высокопарно. Одноклассники посмеивались над ним, дразня трусом, обвиняя в боязни приблизиться к девушке. Он писал ей записки с признаниями в любви и бросал в почтовый ящик, а на следующий день делал вид, что ничего этого не было. Он боялся заявить о своих чувствах вслух, глядя в глаза; она тоже не признавалась ему в симпатии, а он ждал, надеялся, что она первой произнесёт три заветных слова, и тогда его собственный язык развяжется, а страх отступит.

Они, как свидетельствовал календарь с вычеркнутыми датами, ходили по одному и тому же маршруту тридцать два дня кряду, а затем настала пора летних каникул, и Катя уехала на дачу на три недели. У него не было дачи; не имелось даже самых отдалённых родственников, к которым можно было бы наведаться, только чтобы не торчать три летних месяца в городе.

Константинов твёрдо решил, что скажет Кате о своей любви, как только она вернётся. И он почти сделал так, как задумал, но оборвал признание на полуслове, утаив от девушки с блестящими от нежности глазами жизненно необходимый глагол, такой важный для всей мировой литературы, которой Константинов посвятит себя в будущем. Глагол надёжный и обнадёживающий, высеченный из слов на века или, по крайней мере, на годы. Так и не произнеся его, Константинов развернулся и ушёл. Он шёл и продолжал видеть перед собой ярко-серые обожаящие её глаза. Ох, как же ему было стыдно! Он должен был вернуться к Кате и просить прощения, но вместо этого упрямо шагал вперёд, пока не уперся в широкую реку заполненного автомобилей шоссе.

Катя больше никогда с ним не разговаривала, даже на выпускном вечере, когда они оказались в автобусе, отвозившем их на Поклонную гору, в соседних креслах. Тогда он уже был на полголовы выше неё.

Объяснения своему малодушию Константинов так и не сочинил, но убедил себя в том, что всё случилось так, как должно было случиться. Другие варианты исключены. Рок действовал молниеносно.

После Кати были Вика, две Оли и даже Мариэтта, но они остались в памяти выцветшими фотографиями из очередного альбома, уже студенческого. Или даже проявленной плёнкой, с которой впоследствии не сделали ни одного отпечатка.

Студенческие годы для Константинова пролетели быстро: он и заметить не успел, как подошла к концу учёба на пятом курсе и наступило время ответить за всё, то есть сдать государственные экзамены. Он не боялся говорить перед комиссией, но в ночь накануне самого важного для него экзамена его охватила такая паника от ощущения *ничегонезнания*, что он всерьёз решил, что вот-вот лишится рассудка. Тем не менее, наутро, после неожиданного провала в крепкий сон, он даже не вспомнил о своём ночном отчаянии. Экзамен был сдан.

Потом наступил ноябрь. Константинов кутался в пальто в неотопляемой аудитории, ожидая, когда его вызовут. Вопросы билета навевали скуку; отвечать не хотелось. Он тихонько, чтобы никто не слышал, дул на пальцы, чтобы хоть немного согреться.

Члены комиссии отлично знали, что Константинов поступит в аспирантуру в любом случае и что три других кандидата, желающих поступить на ту же кафедру, получают от ворот поворот. Но требовалось соблюсти процедуру, чуть ли не таинство, и выслушать всех, кто пришёл в этот день и вытаскил билет из стопки, превратившейся в веер по просьбе профессора Железняка.

На первый вопрос Константинов отвечал блестяще, и Железняк, будущий его наставник, даже снял очки с носа, положил их перед собой на стол, а маленькие пухлые ручки сложил умиротворённо на груди, глядя на будущего кандидата, а может, и доктора наук почти влюблённо, с нескрываемым обожанием. Его мало зрячие без очков глазки не правились Константинову, и он отводил взгляд в сторону, на портреты Шолохова и Горького, повисшие над головами членов государственной комиссии.

Когда Константинова попросили переходить ко второму вопросу, он недовольно поглядел на билет, кончиками пальцев долго поворачивал его к себе, чтобы еще раз прочесть плохо пропечатанную строку — “Поэзия Сергея Есенина” — и закатил глаза. Потом пристально посмотрел на членов комиссии, на её председателя — ректора — и процедил:

— Господа, пять месяцев назад, сидя за этим самым столом и сдавая государственный экзамен, я уже рассказывал вам про поэзию Есенина. Думаю, вы прекрасно об этом помните. Для чего же мне повторяться? Своих взглядов я не переменил.

Константинов поёжился не столько от холода, сколько от тишины, втянул шею в воротник и принялся считать остатки листьев на ольхе во дворе института.

— Хотя что-нибудь скажите, — попытался спасти ситуацию профессор Железняк, покрасневшийся, занервничавший, дважды протёрший линзы очков платочком. — Может, у вас имеется любимое стихотворение у этого автора? Поговорим о нём! — воскликнул он воодушевлённо.

— Я предпочитаю других поэтов, — честно признался Константинов, а в голове завертелся мотив популярной песни: “Старый дом мой давно сдулился...”

Константинову, единственному во всей аудитории происходящее не казалось фарсом. Он был измучен длительным ожиданием своей очереди, чувством голода, холодом в аудитории и пресностью осеннего дня за окнами.

— Впервые вижу такое, — усмехнулся ректор. — Но всё же! Что вы скажете о Есенине?

— Есенин... — Константинов намеренно выдержал долгую паузу. — Певец деревни и природы. У меня всё.

В аудитории зашумкались, стали посмеиваться другие претенденты на аспирантуру. Он чувствовал, что их взгляды вот-вот пробурывают его спину и затылок.

— Что же... — с грустью произнёс ректор, — можете быть свободны.

Константинов покинул аудиторию со спокойным лицом; ни один нерв не дрожал в его теле, ни одна тревожная мысль не беспокоила его. Он знал, что его возьмут даже после сегодняшнего провала. Может быть, возьмут вопреки.

Так и вышло: он получил “хорошо”, но потерял на несколько месяцев доверие Железняка. По весне, когда он приступил к кандидатской и показывал профессору черновик первой главы, тот всё ему простил и, заглядывая на все кафедры без разбора, радостно сообщал, что в этом году у него невероятно способный ученик.

#### IV

До тридцати лет Константинов оставался один: ни невест, ни подруг, ни случайных связей. Нет, была одна, курортная, вспыхнувшая на несколько ночей страсть, но она не в счёт — она не дала ему ничего, кроме сладкого томления в паху, а затем внезапного телесного насыщения и безмятежного разглядывания ярких звёзд над морем. Константинов словно и не замечал, что жизнь его, посвящённая чуждой большинству людей науке и работе в институте, однообразна и раскрашена не всеми доступными в его возрасте цветами. Иногда к скудной жизненной палитре он, выезжая на море, — сначала в Крым, затем на Адриатику, — прибавлял синий цвет. Он проводил там две-три недели; бесконечно слонялся по набережным, смотрел, как счастливы мужчины и женщины, приехавшие вместе отдохнуть, отмечал, что некоторые из них несчастны и тяготеют долгим пребыванием подле друг друга, но не задумывался о том, что мог бы точно так же приехать не один, а с возлюбленной. Одной бессонной ночью, когда под окнами его номера грохотала музыка, он лежал, уставившись в озарённый фонарями потолок, и пытался вообразить, как идёт вдоль моря рука об руку с красивой девушкой. Он довольно ясно представил её себе, но потом, перебирая в памяти знакомые имена и лица, расположившиеся перед его взором словно на страницах записной книжки, он не отыскал среди них никого, кто хотя бы отдалённо походил на эту девушку. Огорчённый, он поднялся, высунулся в окно и стал наблюдать за танцами в зелёном, полном цветов дворике гостиницы. Его несколько не раздражало это шумное, мешающее уснуть веселье. Он даже чувствовал свою сопричастность происходящему, хотя оставался фигурой пассивной, не вносящей своего вклада.

Утром он купался, бродил по городу, выскивая среди прохожих единственное, необходимое лично ему лицо. Поиск успехом не увенчался. Константинов обратил внимание, что одни женщины сразу отводят глаза, едва он взглядывает на них, другие же, а их оказалось большинство, поворачивают к нему лица и как будто ждут, что произойдёт дальше. (Его единственный курортный роман и случился из-за того, что на улице пересеклись два взгляда — его и девушки из неведомого ему Кемерова.)

Вернувшись в Москву, Константинов перестал будоражить себя мыслями о несуществующей девушке, привидевшейся ему тёплой итальянской ночью, и погрузился в свои обычные заботы.

Более всего ему не нравилось читать лекции студентам; почти постоянно они превращались в пытку. И дело не в том, что студенты плохо его слушали или не слушали вообще, хотя рассказчиком он оказался незаурядным, и не в том, что они порою так шумели, что хотелось со всей силы двинуть кулаком по кафедре, да так, чтобы щепки полетели. Пытка заключалась единственно в том, что Константинову было невыносимо скучно из года в год рассказывать одно и то же, читать один и тот же курс. И хотя он старался каждый раз говорить о чём-то, о чём он ещё никогда не говорил, это не спасало его от педагогической меланхолии, укрывавшей его своим пуховым, непроницаемым для посторонних звуков одеялом. Он становился равнодушным ближе к декабрю, когда впереди маячила сессия, а затем, накануне мая, когда подходило время летней сессии и таких невыносимых государственных экзаменов, на которых ему одновременно хотелось всех и пожалеть, и завалить, ему становилось и вовсе нестерпимо скучно.

Меланхолия таяла, когда в последний день июня он получал в узком касовом разрезе отпускные, сдавал ключ от кафедры на вахту и, остановившись на крыльце, делал глубокий вдох. Он знал, что теперь свободен почти на два месяца и предоставлен самому себе. Степаныч, служивший вахтёром

уже двадцать лет, напутствовал его перед уходом и жаловался, что теперь в институте станет совсем скучно, не будет студентов, которым можно выговаривать за малейшие проступки, и не с кем будет словом обмолвиться. Все надежды вахтёр отныне возлагал на Музу — толстую, прибившуюся к институтской библиотеке собаку, которая в прошлом была обыкновенной бездомной дворнягой, а теперь носила ярко-красный ошейник, имела право облаять любого, кто заходил в институтский двор и казался ей подозрительным, и даже была музой для служительниц библиотеки, которые делались добрее, когда она приходила к ним за ласками. На чужаков Муза лаяла от низкорослого куста, в тени которого проводила солнечные дни, и редко когда поднималась на все четыре лапы и направлялась в сторону не понравившегося ей человека. Она была слишком грузна для лишних движений и предпочитала решать проблемы на расстоянии. Лай её звонко разносился по округе.

## V

Зимой умер отец. Константинов бросал комья мёрзлой земли на крышку гроба, и они, глухо ударяясь, отлетали в сторону.

Он не мог сосредоточиться на ситуации и совсем не понимал, что произошло. Три дня назад позвонила мать и сказала нечто такое, во что поверить было совершенно невозможно. В голове — в той самой голове, где так удобно были рассортированы по разным полкам и антресолям различные знания, необходимые воспоминания и прочая мелочовка, где всегда царил образцовый порядок, — там блуждал какой-то призрак, не находивший себе пристанища. В самых далёких коридорах памяти звучал голос отца — ласковый и спокойный; возникали его лицо и глаза; тянулись к Константинову его руки в рабочих мозолях, и он протягивал навстречу им свою ладонку — удивительно крошечную, несоизмерную. Или же несоизмерными были руки отца, так много ему, Константинову, давшие? Руки, поднимавшие его на плечи, ведшие его навстречу приключениям и открытиям, отвешивавшие звонкие оплеухи за ошибки, но руки, безусловно, любимые.

Константинова толкнули в бок, мать с опухшим от слёз лицом кивнула в сторону могильной ямы, возле которой на изготовке стояли трое гробкопателей, не торопившиеся приступить к своему тяжёлому ежедневному труду. Надо было что-то сказать перед тем, как гроб окажется засыпан; до сих пор, пока другие говорили, Константинов молчал.

Он повёл плечом, поправил шарф, переставший прикрывать его простуженное горло, откашлялся и в этот самый миг ясно представил перед собой отца. Он стоял среди других людей — невысокий, серьёзный — и казался реальней всех их, вместе взятых. Он тянул руки к сыну, и Константинов решил, что это может означать только одно — отец просит то, чего он, Константинов, недодал ему за неполных двадцать восемь лет своей жизни. Но чего не хватало отцу — внимания, заботы, ласки? Ему недоставало обыкновенных слов, коротких рассказов о том, что происходило у Константинова. Сын был скуп на слова. Отцу бывало грустно от того, что сын почти никогда не делится с ним своими мыслями, а когда тот только родился, он мечтал, что сын вырастет, наберётся ума, и тогда появится у него отличный собеседник. Он не желал иного; он не думал стареть, как остальные, — во дворе возле дома, за нескончаемыми партиями в домино или вознёй под капотом старого автомобиля, за просмотром несносных, надоедливых телепрограмм. Отцу хотелось стареть и видеть, как растёт и мужает сын. Ему важно было знать, в какого прекрасного человека тот превращается. Превратился ли Константинов в такого человека, оправдал ли отцовские чаяния? Некому было теперь ответить на этот сложный вопрос. Константинов будет искать ответ на него позже, на протяжении многих лет своей жизни. Пока же он, наконец, разомкнул свои губы и произнёс:

— У отца были руки... — Он всё ещё видел его стоящим среди собравшихся. Пауза была нестерпимо долгой, и Константинов заметил, с каким удивлением на него смотрят люди. Он чувствовал нелепость уже произнесённого, но поправить ничего не мог. — Вот такие руки были!.. — прибавил он и смолк окончательно.

Он отступил в сторону; ему нужно было прижаться к кому-то или чему-то. Сам он стоять не мог. Привалившись к сосне с запорошенной корой, он зажмурился и слушал, как скрипит под ногами людей снег. Он скovyрнул со ствола заледеневший кусочек смолы, долго дышал на него, а затем лизнул — и вернулся в лето. Руки отца толкали его в спину, раскачивая на тарзанке. Верёвка, привязанная к толстому суку, тревожно натянулась. Константинову предстояло перелететь через небольшой лесной ручей. Ему было и страшно, и весело; он был уверен, что даже если что-то пойдёт не так, отец его не бросит и придёт на выручку. И он прыгнул... и приземлился в мягкой траве, повалился на спину и хохотал без остановки. Отец разулся и перешёл ручей вброд, громко ругаясь на ледяную воду...

Мать позвонила через день и ругала Константинова за то, что тот ничего не сказал на могиле отца.

— Я на тебя надеялась! Что ты за человек такой? У тебя всё на полуслове обрывается. Вот умру — так начнёшь за здоровье, а кончишь за упокой!

Константинов не спорил и слушал молча. Неужели эта маленькая, сухая и совершенно седая женщина, которую он видел на кладбище, — его мать? Он не мог вспомнить её молодой. Отца мог, а её — нет.

## VI

Потом появилась Вера, аспирантка Железняка. Высокая, худая, с очаровательной ямочкой на подбородке и приметной издали родинкой на шее.

— Вы такой молодой, а уже доктор наук! — восхищённо воскликнула она, когда профессор представил их друг другу.

— Вот, Петя, — смущаясь и подкашливая, сказал Железняк, — новый обитатель нашей кафедры — Верочка. Очень жаль, что вы не слышали, как она держалась на экзамене. Редкостное самообладание под напором вопросов от наших неприветливых коллег.

— Возможно, я поторопился, — шутя, ответил Константинов на восклицание Веры, а про себя подумал: “Господи, какая восторженная дура...”

— Вы когда-нибудь жалели, что выбрали литературоведение? — отчего-то рассмеявшись, поинтересовалась она, и Константинову, который уже почти поставил крест на едва завязавшемся знакомстве, понравилось, как затряслось в такт смеху её золотистые локоны.

— Я никогда ни о чём жалею, — своим привычным серьёзным тоном ответил он. — А вы, — тут же спросил он, разглядывая кольцо на её пальце, — не жалеете, что так рано выскочили замуж?

Вера мгновенно покраснела:

— Вообще-то нет. Уж о чём я не жалею, так это об этом.

Но ответила она неуверенно, и Константинов сразу почувствовал это, не поверив её словам, едва сдержал саркастическую улыбку.

Он думал о девушке с золотыми локонами днями напролёт, и это отвлекло его от куда более важных, как ему представлялось, дел. Что-то новое, неизвестное происходило с ним, и это всерьёз тревожило его — почти как набоковская невралгия. Течение времени словно замедлилось — Константинов еле дождался, когда подойдёт к концу день, чтобы забраться под одеяло, перемучиться два часа от бессонницы и затем крепко уснуть.

Утром он глядел в зеркало на своё осунувшееся лицо, жалел себя, пытался сосредоточиться на распорядке дня, но всё шло прахом, когда на ум приходили голос и руки Веры.

Приблизив лицо к зеркальному стеклу, коснувшись его кончиком носа, он спросил самого себя:

— Любовь?..

— Вера замечательная девушка, — расхваливал её Железняк, когда остался наедине с Константиновым на кафедре. — Талантливая, способная. Загляденье, а не ученица! Что вы думаете о ней?

— Я? — настороженно переспросил Константинов, подумав вдруг, что профессор догадывается о непокое, зародившемся в его душе. — Я думаю, что мне как самому вашему любимому ученику придётся много ревновать.



— Да, Петя, я знаю, как вам во всём хочется быть первым и при этом единственными! После конференции в Саратове мне звонили старые знакомые и хвалили вас. Но, боже мой, ведь каждый отметил, сколь вы амбициозны и нелюдуприятны!

— Надеюсь, профессор, они не имели в виду, что я непривлекательный человек?

— О нет, напротив! Они употребляли это слово в его подлинном значении. Они из старой гвардии и не терпят никаких неточностей.

— Прекрасно! — Константинов расслабленно откинулся на спинку дивана. — Меня вполне устраивает такое мнение обо мне.

— Но всё же ваш взгляд на поэзию Есенина менястораживает, — свернул старую шпильку Железняк. — Нестораживает — это ещё мягко сказано...

— У меня с ним давние счёты, ничего не могу поделать.

— А зря!

## VII

Они встречались в почасовых гостиницах два раза в неделю. Каждый раз Константинов бронировал номер на три часа, полагая, что двух окажется недостаточно, и почти каждый раз они спускались раньше положенного времени. В таких случаях ему неловко было смотреть в глаза девушке за стойкой, перед которой он клал ключи от номера.

Вера вечно куталась в одеяло, стесняясь надолго оставаться при нём обнажённой. Ему приходилось долго уговаривать отдать ему одеяло. Она выглядела смешно, когда заворачивалась в него, оставляя на поверхности только лицо.

Отобрав у неё одеяло, Константинов прикивал губами к её груди. Она опускалась на подушку, раскидав по ней волосы, прикусывала губу и замирала. Затем резко поднималась, хватала с тумбочки его часы и смотрела на стрелки, которые постоянно куда-то торопились.

— Откуда он заберёт тебя в этот раз? — спросил Константинов.

— Тут, знаешь, за углом кафе есть. Я сказала, что пью кофе с подругами.

— Он верит тебе?

— Думаю, он ни о чём не подозревает. Но, наверное, нам надо прекратить эти встречи.

— Если ты этого действительно хочешь, то сегодня мы встречаемся в последний раз. С завтрашнего дня мы просто коллеги.

— Нет, нет, я не это имела в виду! — запротестовала Вера.

— Ничего иного ты подразумевать не могла, — холодно ответил он, натягивая брюки. — Кстати, когда ты забираешь волосы в хвост, тебе это не идёт.

Вера схватила его за плечи и повалила назад, на постель.

— Остаься! У нас ещё полчаса...

Константинов знал, что ей стыдно; видел, как мучительны для неё эти встречи. Ему казалось, что, несмотря на происходящее, Вера с каждым днём любит мужа всё сильнее — всё печальнее становилось её лицо во время их свиданий. Но также он был уверен, что она любит и его, Константинова. Зная это, он, наконец, сумел справиться с былой растерянностью, привёл в порядок мысли и жил почти спокойно, лишь порой изнемогая от того, что Веры нет рядом. Впрочем, ему не хотелось, чтобы она была рядом всегда. Это даже помешало бы его образу жизни. Достаточно встреч на работе и в гостиницах. Но иногда — именно иногда — ему хотелось видеть её чаще обычного.

Однажды Вера согласилась прийти к нему. Прежде она никогда не соглашалась, но теперь предложила сама:

— Пойдём сегодня к тебе?

Ей понравилось его скромное жилище, простая обстановка и залежи книг. Книжные башни валились в сторону, когда Константинов увлечённо

снял с неё одежду. Вера вытащила из-под головы увесистый том и взглянула на обложку:

— “Улисс”?

— Это было давно, — словно оправдываясь, ответил он. — Я быстро сдался.

В тот вечер Вера осталась у Константинова. Ей стало безразлично, что подумает о ней муж. Она отключила телефон, убрала его на самое дно сумочки, под прохладный ил шёлкового платка, который всегда носила с собой. Она уже ни во что не куталась, прохаживаясь по квартире с чашкой кофе в руках; читала надписи на корешках книг; чуть склонив голову набок, улыбалась без конца Константинову.

— И тебе всё равно, что будет завтра? — поинтересовался он.

— Совершенно. Ты даже не представляешь, до какой степени. Для меня важно только одно — что я люблю тебя. Никогда не была уверена в этом так, как сейчас. А ты? Ты любишь?

Константинов привычно повёл плечом. Ему не хотелось говорить вслух о том, что было и так очевидно. Вера на ответе не настаивала, и он промолчал.

Наутро были слёзы и сорок два пропущенных звонка от мужа.

Вера не появлялась на кафедре неделю, не отвечала на звонки и вообще словно в воду канула. Когда профессор Железняк поинтересовался у Константинова, не знает ли тот, что произошло, тот утвердительно кивнул — мол, знаю, — но ничего к тому не прибавил.

Когда она вернулась, он ничего не спросил у неё, но догадался по её спокойствию, что дома всё в порядке и, видимо, она нашла удачное объяснение для мужа, хотя он и представить не мог, какое именно.

Несколько дней Вера вела себя с ним сдержанно, будто они всегда были просто коллегами. Она не пыталась заговорить, как прежде; не улыбалась, как обычно, его едким замечаниям; не ходила, как заведено, на обед в час дня. Вера была сама по себе. Поначалу Константинова смутило подобное положение вещей, однако он быстро смирился с ним и перестал думать о происходящем, вернувшись к своему обычному существованию.

Можно ли сказать, что Константинов жил какой-то особенной внутренней, по большей части вымышленной жизнью? Наверное, нет. Его жизнь имела чёткий распорядок, а если и случались отклонения от него, такие, например, как Вера, то он пытался встроить это новое в свою обыденность. Константинову не наскучивало жить без ярких красок, сильных эмоций. Он не жил, как некоторые, прошлым; мало заботился о будущем, да и настоящее являлось для Константинова данностью, объективной реальностью, которую следует принять и в некоторых случаях постараться подстроить под себя.

Вера, конечно же, обеспокоилась, что её нарочитая отчуждённость, холодок, которым повелею от неё в сторону Константинова, никак в нём не отзываются. Она подумала даже, что, не вернись она на кафедру, он не позволил бы, чтобы узнать, как у неё дела. Она засомневалась: любит ли он её так, как ей хочется? Вере мечталось совсем о немногом: чтобы он был с нею нежен, чтобы говорил с нею, чтобы иногда выслушивал, а не утыкался носом в книгу или очередную свою статью. Ей хотелось, чтобы Константинов обнимал её — так, как обнимают своих возлюбленных мальчишки-подростки, не смеющие сделать большее. Не нужно было дорогих подарков, поездок на Багамы и громких слов. В конце концов, как говорилось в старой киноленте? Счастье — это когда тебя понимают? Вот этого хотелось Вере.

Она поправляла причёску, стоя возле овального зеркала под портретом Горького, и незаметно для Константинова наблюдала за ним. Он то садился за стол и начинал усердно выстукивать на клавиатуре слова и абзацы, то поднимался и подходил к окну, из которого видна была тесная площадь, заставленная автомобилями. Он ни разу не взглянул в сторону Веры, а она уже десять минут стояла перед треклятым зеркалом, в котором с каждой минутой становилась всё старше, а значит, некрасивее; он вообще не замечал её присутствия. Ей, разумеется, следовало демонстративно взять свою сумочку, процокать каблуками по паркету и выйти прочь, громко притворив дверь,

однако вместо этого она, не отлучаясь от зеркала, спросила у Константинова:

— Ты со мной уже наигрался?

— Я никогда не играю с людьми, — ответил он, не отрываясь от монитора. — Просто ты вернулась с желанием держать меня на расстоянии, и я не хочу мешать твоим намерениям.

— Ты злой, Петя.

— Вряд ли меня можно назвать злым. С утра я купил для тебя плитку горького шоколада.

— И где же она? — нетерпеливо спросила Вера. Поводив пальцем по зеркалу, она надавила пальцем на то место, где отражалась голова Константинова, и попыталась раздавить её, как давят летом надоедливых мошек. — Почему ты молчал до сих пор?

— Потому что с самого утра ты занята надуванием губок и самолюбованием в зеркале.

— Я только подошла к нему! — заспорила Вера.

— Это уже шестой подход. Но я не против — мне пока что зеркало не нужно.

— Видел бы ты свою рожу... — обиженно прошептала она. — Сейчас же отдай мне мой шоколад!

Константинов достал из стола плитку шоколада, снял обёртку, зашуршал фольгой и протянул Вере.

— Хотя что-то хорошее за весь день, — вздохнула она.

— Ещё нет и полудня. Совсем не весь, — заметил Константинов, и Вера, наконец, улыбнулась.

## VIII

В детстве куда проще: сел на велосипед, покатил по дорожке, и люди сами расступаются, а некоторые хвалят: “Молодец, мальчик, спортом занимается, а не балбесничает, как мой!” Казалось бы, разве мальчик на велосипеде — повод для умиления? А взрослые всё равно расплываются в улыбках.

Сейчас, когда Константинов вырос, никто не расступался перед колёсами его велосипеда, и он предпочитал побыстрее докатить до парка, домчать до самых дальних его закоулков и уже там, никуда не торопясь и вдыхая свежий запах леса, насладиться прогулкой.

Педали под ним всегда крутились легко, без скрипа, как у других людей; рама не стонала от чрезмерного веса ездока, а дисциплинированный звонок не звякал попусту, когда переднее колесо насакивало на кочку. Константинов не был склонен к глупым метафорам, но сейчас, катаясь вдоль хорошо заасфальтированной дорожки, он ощущал себя чуть ли не единым целым с велосипедом. В газете журналист-недотёпа наверняка написал бы об этом: “Велосипедист и его двухколёсная машина слились в экстазе...”

Руль был продолжением рук, а педали — продолжением ног. Странный симбиоз человека и колёсного транспортного средства. Константинов усмехнулся, нажал на тормоза и ловко спрыгнул в придорожную траву. Оставив велосипед у обочины, он устремился в сердце изумрудного луга. Нагибаясь, он рвал васильки, складывал их в букет, подносил к ноздрям, чтобы убедиться, что всё происходит взаправду, и вдруг громко прокричал:

— Чёрт те что!

Вчера позвонила Вера, сказала, что разводится с мужем и пока поживёт у мамы. Пока — то есть до того момента, когда Константинов приведёт в порядок свою квартиру, чтобы в ней возможно было жить вдвоём.

За полтора года отношений он никогда всерьёз не задумывался о том, чтобы жить с ней вместе. Его устраивало, что они видятся в институте, гостинице или у него дома. И она всегда уходила, оставив после себя сладковатый запах духов, ощущение своей кожи на кончиках его пальцев и вкус помады на его губах. Она уходила, и всё становилось, как обычно. Можно было поставить сковородку и пожарить мясо; можно было разогреть вчерашние щи и поужинать ими; можно было... Много можно сделать, пока ты один в квартире. Сейчас Константинову представлялось, что всему этому размеренному

покою вот-вот придёт конец. Он никогда не рассуждал о том, счастлив ли он в своей жизни или нет, но теперь почувствовал себя несчастным.

Умение ставить точки необходимо каждому. Можно сколь угодно долго расставлять запятые, без конца усложняя предложение; можно на время прерваться, настукав многоточие. Однако нет ничего лучше вовремя поставленной точки, после которой нет ничего. Возможен лишь новый абзац, очередная глава. В худшем случае — новое предложение. Человек, умеющий ставить точки, имеет больше шансов оказаться свободным от людей и эфемерных обязательств перед ними; от обстоятельств, в конце концов.

“Надо взрослеть, надо совершать разумные поступки, — рассуждал Константинов, разбрасывая собранные васильки. — Вечный покой настанет потом, в некоторой перспективе. Теперь же покой настаёт и пропадает, и за ним не стоит гнаться постоянно, ведь сама гонка — это непокой. Следует поставить точку в правильном месте. Сейчас или никогда? Сейчас? Или никогда?”

Вечером разрывался телефон. Наскучившая полифоническая мелодия прозвучала несколько раз. Константинов даже не сбрасывал звонок и тупо глядел на имя звонящего, вписанное в маленький зеленоватый экранчик. На пару минут всё стихло, а затем заверещал аппарат в прихожей. Он молчал несколько лет, а тут заговорил. Константинов понял, что очень нужен Вере, раз она не оставляет попыток дозвониться. Вряд ли случилось что-то серьёзное, но ей необходимо услышать его. Возможно, он и сам нуждался в том, чтобы услышать её голос, но всё же откладывал, как мог, этот момент.

— Слушай, почему ты себя так ведёшь? Я живу как разрывавшаяся, что ты не подходишь. Бог знает, что уже успела напридумывать! — Вера возмущалась довольно громко, но беззлобно. Она, скорее, жаловалась на него ему же. — Ты чем там занят?

— Звук у мобильного выключен, вот и не слышал, — объяснил он.

— А делаешь что?

— Сейчас с тобой разговариваю.

— Ясно... Петя, нам очень нужно поговорить. Я больше так не могу — я ничего не понимаю, я запуталась, мне страшно. Даже представить не могу, что у тебя на уме! Ты каждый раз отлыниваешь от разговора, словно он тебе не нужен. Но он нужен не только мне!

— Давай поговорим сейчас? — предложил он.

— Нет уж! Нам нужно встретиться.

— Утром я уезжаю в Минск...

— Вот и чудесно. Я приеду тебя проводить. По крайней мере, это романтично. Ха! Какой вокзал, Белорусский?

— А какой же...

— Где мы встретимся?

— В десять у крайнего правого подъезда. Там, где выход из метро.

— Договорились. Знаешь, мне сегодня звонил муж...

— Ты продолжаешь называть его мужем?

— Не придирайся к словам. Если бы я сказала, что звонил Игорь, ты бы переспросил, кто это. Ну, чего молчишь?

— А что сказать?

— Что-нибудь, чтобы я успокоилась!

— Успокойся.

— Дурак!

— Так что случилось?

— Какой ты невыносимый... всегда! — Слышно было, как Вера с досадой шлёпнула ладонью по какой-то поверхности. — Он просил меня вернуться. Готов всё простить. Говорит, ему всё равно, что в моей жизни случился профессор.

— Я доцент, — поправил Константинов.

— Поверь, для него это одно и то же.

— И что ты? Собираешься вернуться?

— Дурак! Какой же ты дурак! — Она высморкалась, отложив трубку в сторону. — Завтра поговорим. Мне хочется видеть твои глаза. А сейчас ты

портишь мне настроение. Мне кажется, ты ни к чему не относишься всерьёз. Нет, вру. К себе относишься. Ладно, пока!

Не дожидаясь ответа, она повесила трубку.

## IX

Константинову снилось море. И не было бы в этом сне ничего необычного, потому что море снилось ему часто, если бы не особенное ощущение себя маленьким мальчиком, оставленным наедине с накатывающими на песчаный берег волнами.

Замок, который он выстраивал три часа кряду, не забыв вырыть глубокий ров и заполнить его водой, посадив на вершины четырёх башен моллюсков, никак не желавших распахивать створки своих крепких раковин, был смыт за мгновение. Волна набежала на стену, обрушила поток на замковый двор, повалила набок башни, а затем стремительно понеслась обратно, увлекая за собою в море разваленные стены и подхватив четыре плотно схлопнутые раковины. Константинов стоял, разинув рот, и не знал, на что бросаться: то ли закрыть своим щуплым, полупрозрачным, как у медузы, тельцем стены, на которые надвигалась опасность, то ли ловить ведёрко и совок, уже подхваченные солёным потоком и собирающиеся отчалить от берега, возможно, навсегда.

Потом Константинова обступили люди, участвующие в каком-то безумно цветастом карнавале. Они были в масках; они оттесняли его всё дальше в море, распевая песню на незнакомом языке. Он пятился и пятился, пока не оказался в воде по шею. Тогда он решил плыть.

Константинов плыл на маяк, видневшийся впереди, на серповидном полуострове. Он перестал взмахивать руками, и вода качала его на своей блестящей на солнце поверхности. Передохнув, он вновь поплыл сам, чувствуя, что с каждым новым взмахом рук становится старше. В море плыл не несомый мальчишка, а уже самый настоящий, вымахавший вверх, широкий в плечах Константинов, закончивший перед сном доклад, с которым предстояло выступать в Минске.

Он всё плыл, а с проходящей мимо яхты под неведомым флагом ему махали полуголые девицы. Константинов восхищённо свистнул, поднёс руку к лицу и обнаружил, что его кожа дрябла, как у старика. От трогал нервными пальцами лицо и обнаруживал морщины; коснулся губ и понял, что за ними пустота, — в беззубый рот плеснуло водой.

Константинов понял, что нужно поворотить и плыть назад, на берег его молодости, к той минуте, когда волна только собиралась разрушить замок. Замок следовало спасти во что бы то ни стало. Но внезапно навалились сумерки и повеяло холодом; на маяке, до которого оставалось всего ничего, загорелся свет, и Константинов устремился к нему, потому что возвращаться назад, туда, откуда он приплыл и где теперь, вероятно, ничего, кроме тьмы, не было, показалось ему неразумным.

Он выполз на берег совершенно обессиленный и уткнулся лицом в мокрый песок. Он лежал, не шевелясь, и слушал, как бьёт где-то неподалёку колокол. “Откуда колокол на маяке?” — подумал он, нащупывая в песке камень. Камень поместился в ладони, и Константинов сжал его. Колокол замолчал. Константинов взглянул на циферблат — семь утра. Завод будильника вышел сам. Константинов зря с такой силой сжимал его.

“Одному быть нельзя, — решил он, поднимаясь с кровати и нащупывая ногами холодные тапочки. — Нельзя”.

## X

Вера терпеливо ждала его возле крайнего правого подъезда и, хотя он не опоздал ни на минуту, осталась недовольна:

— Я уже давно здесь, между прочим!

— У нас не так много времени, — ответил Константинов, устремляясь к центральному подъезду вокзала. — Проводишь меня до перрона?

Она шла рядом с ним и быстро-быстро повторяла всё то, что успела сказать вчера по телефону.

— Нам нужно решить, что с нами будет дальше! — выпалила она, когда он искал на табло нужную платформу.

— Давай решим, — согласился он.

— Как ты просто об этом говоришь!

— Незачем усложнять, — улыбнулся Константинов. — Вот ты меня любишь?

— А ты как сам думаешь?

— Вместо того чтобы ответить, ты всё усложняешь.

— Ну, люблю, — опустила взгляд Вера, понимая, что он её подловил. — А ты?

Константинов протянул паспорт проводнице. Она долго сличала его лицо с фотокарточкой десятилетней давности.

— Пятое купе, проходите.

— Вот так и уедешь? — воскликнула Вера и, заметив удивлённый взгляд проводницы, прибавила: — Простите нас, девушка.

Та вежливо улыбнулась и отступила на шаг, думая, что Вера сейчас поцелует его, однако Константинов ступил на нижнюю ступень лесенки, ведущей в тамбур.

— Да, уеду на этом поезде.

— Ты любишь меня?

— Граждане, прощайтесь скорее, — поторопила смущённая проводница.

— Люблю, — ответил он, поднявшись в тамбур.

Проводница поднялась следом за ним, сложила лестницу, взялась за ручку двери, чтобы захлопнуть её, но замерла, не решаясь. Поезд качнулся, немного откатился назад и плавно начал набирать скорость.

— Что с нами будет дальше? — закричала Вера, с досады роняя сумочку.

Константинов взмахнул рукой. Проводница хлопнула дверью. Вера сделала несколько шагов по платформе.

— Для чего тебе глобус? — спрашивал отец.

— Я буду его вертеть, — отвечал Константинов.

— Ты можешь хоть иногда отвечать по-человечески?

— Если бы это было так просто!..